…И СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

К НАМ ПРИДЁТ НЕПРЕМЕННО

\* \* \*

Ах, балерина-балеринка,

былинка в пачке… Это ж так

обыденный прогон, разминка,

всего лишь спевочка, пустяк.

Зачем ты так взяла высоко

на хрупких пикселях пуант –

и всю любовь свою, что робко

хранила, весь расклад расплат

зажгла на сцене – и не жалко! –

вся в высь, и – быть или не быть,

ведь это ж просто генералка?

Так до премьеры не дожить.

В обиде, в нежности, в расцвете,

в раскаяньях – зачем душа

вся в глубь?.. И вот уже на сцене

смиренно опустошена.

По воле юности и Бога,

аплодисментов не прося,

из крыльев платья голубого

наружу вывернута вся.

Сиреневая музыка

Сгущая звуки красками у ног,

разбрасывает крылышками с глупой

настойчивостью бойкий мотылёк

сиреневую музыку над клумбой.

Всё позабыв на свете часом, он

аранжирует, упиваясь летом,

свет настоящий, что покуда светом

искусственным несильно загрязнён.

Щенок соседский увлечён его

игрой, но отчего-то только лает.

Бежит за музыкой – и не пойми с чего

особо с этой музыкой не ладит.

Унять бы ему лай, да невдомёк,

что, около моих апартаментов,

столь искренних уж точно мотылёк

ничем не заслужил аплодисментов.

\* \* \*

С. М.

Звёзды не умеют под ногами

отражаться на земле. Нигде –

не умеют, даже мимо гати

если ты гуляешь по воде.

В русле нет их. Нет их даже в крепи

русла, где высок и чист их свет.

А верней, не в русле, а на небе.

Смотришь – и тебя как будто нет.

Два ветра

С. М.

В дебрях, но не слишком далеко

заблудились мы, а как положено

двум ветрам – и сделалось легко

там, где было только что тревожно.

Может, вспомнил маму и отца –

и словами стало сердце? Может,

из потёмок наши голоса

вырвал свет – и мир их дальше множит?

Легче теплых пёрышек души,

их дела просты и неразменны,

и над белым светом так слышны,

что уже почти и незаметны.

\* \* \*

Хорошо бы заснуть на скамье

под окошком избы, а проснуться, –

на окошко взглянув, словно в блюдце, –

в русых кудрях, а не в седине.

И зайти, словно в сани свои, –

их ведь летом готовят, – в далёкий

разговор у реки, лёгкий-лёгкий,

и в кругу оказаться семьи,

в тех раздольях, где мама отцу

и жена – не забалуешь слишком,

и любимая – с миленьким личиком,

и отец моей маме к лицу.

И не сыщешь окошка милей…

Но засну, и опять просыпаюсь

в седине, словно выцветший парус,

и не знаю, что делать мне в ней.

Ввечеру у летейских урём

тишины, что кидает на лица

злую скорбь, лишь дурак не боится.

Но сегодня я чую нутром,

что, ступая на мягкие ноги,

холодок на коротком шажке

подойдёт и в матером прыжке

пролетит мимо горла дороги.

\* \* \*

Разрумянила рань колхозницу

возле цинковых двух корыт.

Открывается на околицу

прополоснутый в речке вид.

Речка небом эмалирована,

ярким солнышком холодна.

Через двор протянулись ровненько

две верёвки, как провода.

Сохнут вязанки-рукавицы

и вязанки к душе печной.

Тень в причёске хозяйки снится

тонкой наволочке ржаной.

Сохнет пододеяльник сочно

с парой бязевых лебедей,

сохнут простыни и сорочка

со стожками ржаных грудей.

На прищепках висит скатёрка,

повидавшая многий мир,

не порвавшаяся, где тонко,

и горой вспоминает пир.

Исток

Темнеет и медленно перетекает

ненадобность света в ненадобность слов.

И жить основания нет. И тепла нет.

И всё же, скорбя возле горьких крестов,

нет-нет и воскликнешь, ещё не итожа

юдоли и клином не вышибив клин:

– Какие любили нас женщины, боже!

Зачем же небрежны так были мы к ним?

Забыть их нельзя, как бы ни было тошно,

затем, что отнять их нельзя искони.

Цепляйся! Живи! Умереть невозможно,

тогда же ведь с нами умрут и они.

Умрут – и окрест пошатнутся устои,

и свет упадёт ниже отчих полов.

И с Древа познанья история Трои

осыпется в прах, не дождавшись плодов.

Затем и живи, как бы ни было горько,

в сторонке от шума доматывай срок,

доделывай дело своё – и негромко

в полуночных дебрях ищи свой исток.

Перед устьем

Не учу себя благому днесь,

просто говорю на всяком поле:

– Принимай судьбу такой, как есть,

но живи в отчизне, а не подле.

И, плутая рытвинами, нех

сильно сомневаться, ибо наша

цель не в подчинении наверх,

где над нами сроду нет карт-бланша.

Разве что совсем уж высоко,

а пониже – нет, пониже – те, кто

в праздности разнежились легко

в подноготной дьявольского трека.

И пускай мы выглядим смешно

оттого, что, принимая старость,

вновь разводим руки – дескать, что

можем, то и делаем, стараясь.

А юнец уже кидает злость:

– Ничего не сделали вы толком.

Чем-то мне его приятен лоск.

Чем? Не знаю. Он ведь прав во многом.

Промолчу. Но перед устьем в срок

свой отвечу всем на свете пашням:

– Не от нас остаться должен толк,

а от той земли, куда мы ляжем.

\* \* \*

…И сегодняшний день к нам придёт непременно,

чуть поздней, я не знаю насколько поздней,

время как-то однажды уже не имело

никакого значенья, ему ведь видней

с высоты, где оно то серьёзное солнце,

то скупая луна. И не надо точней,

если день к нам сегодняшний снова вернётся,

в виде солнечных самых обычных лучей.

Мы узнаем его небывалые всходы,

колоски и бутоны увидим его,

будет много красивой и чистой погоды –

не узнать невозможно. И значит легко

мы узнаем его по крупицам, по малым

лепесткам, по жужжанью весёлых шмелей.

И, как пойму реки, его утро туманом

не накроет. Не бойся. Смотри веселей

на дорогу с примятою пылью отменно,

на сиреневый ветер, бегущий по ней,

и настанет сегодняшний день непременно,

чуть поздней, и неважно насколько поздней.

Этот день мы увидим по рекам и пашням,

по дыханью небес. И гороховый шут

побоится назвать его чем-то вчерашним,

ведь скорее шута позабыть предпочтут

потихоньку в себя приходящие люди,

чем себя и надежду, теплее зари,

на сегодняшний день, и ударят салюты,

и отмоют молитвы глаза изнутри.